Crème de la Crème

Марсель Жуандо

СОКРОВЕННОЕ

Перевод
Татьяны Источниковой

асебия

Митин Журнал

2023

ISBN 978-999999-1-76-6

kolonna.mitin.com
asebeia.su

Marcel Jouhandeau
Confidences

Редактор: Дмитрий Волчек
Верстка: Сергей Фёдоров

Gallimard, 1954

Сперва я написал на первой странице этой тетради:

ОТКРОВЕНИЯ

Но потом передумал, стер это название и написал новое:

СОКРОВЕННОЕ,
поведанное в Лиможе 7 октября 1953 года

Сокровенные признания делаются шепотом. Я постараюсь говорить тише, чтобы быть услышанным всеми.

Должен признаться, выступать публично кажется мне несколько самонадеянным. У меня нет к этому ни склонности, ни привычки.

Мне скажут: «Но ведь вы тридцать семь лет преподавали в школе-интернате в Пасси, не так ли?». Да, конечно, но кто были мои слушатели? Дети – немногочисленные, послушные, прилежные, хорошо мне знакомые; не говоря уж о том, что власть учителя в той школе была почти абсолютной. «Но вы же выступали по радио?». Да, но я не видел своей аудитории – сколь бы многочисленной она ни бы-

ла, с таким же успехом я мог вещать в полном одиночестве.

И уж точно не писательским трудом достигается устное красноречие.

Если я не отказался от приглашения AREA, то прежде всего потому, что хотел сделать приятное своей подруге детства, мадемуазель Марии-Луизе Пейра. Мариен Пейра – моя подруга и самый выдающийся эллинист нашего поколения. Однако наибольшее очарование в моих глазах придают ей силуэт и профиль ее всегда серьезной старшей сестры, которая словно оттеняет ее.

Любознательность мадемуазель Пейра и ее душевная щедрость всем известны. С тех пор как *Nouvelle Revue française* опубликовало мои первые «Истории», она не упускала ничего из того, что писали обо мне, и на протяжении четверти века искуснее всех защищала меня от соотечественников, возмущенных теми или иными проявлениями моей бестактности, которые, хотя и объясняются отчасти моей неопытностью и юношеской неловкостью, всё же не оправдываются ими в полной мере.

Второй причиной, побудившей меня принять приглашение, было то, что речь шла о выступлении именно в Лиможе. Чуть позже я скажу всё, что должен выразить по отношению к вашему городу. Сегодня вечером у меня такое ощущение, что я закрываю некий долг.

К тому же сама трудность данного предприятия бросает мне вызов. В моем возрас-

те одержать еще одну победу над застенчивостью – нет, такого шанса я не мог упустить! И вот я стою у подножия стены – живой стены, у которой есть глаза и уши, на снисходительность которой я уповаю. Впрочем, у меня нет намерения произнести академическую речь. Я буду, как говорится, перескакивать с пятого на десятое, говоря о тех или иных вещах, возможно, не особенно заслуживающих внимания, которое вы готовы мне уделить.

Сделаю признание: в 1951 году я должен был выступать на самой настоящей конференции в Брюссельском Католическом клубе, совместно с Жаком де Лакретелем[1]. Месье де Лакретель поставил своей задачей определить границы и признаки литературы художественной, я – литературы исповедальной. Иными словами, речь для нас шла о том, чтобы показать, в чем искусство романиста (автора «Зильбермана»[2]) отличается от искусства хрониста (коим являюсь я). И вот за несколько дней до назначенной даты в издательстве Гастона Галлимара выходит книга «Похвала сладострастию»[3] – дело моих рук, – и вызывает

---

1 Жак де Лакретель (1888–1985), писатель, член Французской академии.

2 «Зильберман» (1922) – роман Жака де Лакретеля о еврейском юноше, покидающем Францию из-за антисемитизма.

3 Русский перевод этой книги, в которой Жуандо, в частности, размышляет о природе однополой любви, вышел в нашем издательстве в 2015 году.

в Бельгии скандал. При виде бури, поднятой вокруг моего имени прессой, я попросил месье Лакретеля извинить меня и выступать одному. Если бы я написал «Похвалу скуке», которую, без сомнения, ждал от меня *Nord,* – я бы не имел счастья и удовольствия выступать в этот вечер, впервые в жизни, перед такой внушительной аудиторией. Мне гораздо больше по душе оказаться сегодня перед вами (особенно если вы не разойдетесь еще до конца моего выступления, что вполне возможно). Здесь, в большей близости к Провансу, Греции, Италии, Испании, – я узнаю привычный мне климат. Да здравствуют Бертран де Борн и Файдит[1]!

В моей первой книге, «Юность Теофиля»[2], я описал всё то таинственное и трогательное, что внес Лимож в жизнь ребенка, которым я тогда был. Из предосторожности я не стал называть ваш город настоящим именем и вместо этого назвал его, с некоторой высокопарностью, «Столица моей провинции». В Лиможе была резиденция нашего епископа, то есть он был своего рода религиозной столицей Марша[3], где я родился, и такой титул представляется мне наиславнейшим: он дает право Лиможу – в моей личной географии – встать

1 Знаменитые окситанские поэты времен Альбигойских войн.

2 Роман вышел в 1921 году.

3 Историческое название центральной части Франции.

в один ряд с другими священными городами, сразу после Иерусалима и Рима. Первый кафедральный собор, чье величие меня ошеломило, был именно ваш. Однако Сен-Мишель-де-Лион еще сильнее заворожил меня. Это была приходская церковь наших кузенов, у которых я остановился, – Дюрье, которые породнились с семьями Тессье, Рекс, Вален, – все они коммерсанты: колбасники, суконщики, виноторговцы… Колбасная лавка на улице Адриена Дюбуше, по соседству с площадью Дени Дюссуба, до сих пор источает свои ароматы где-то в дальнем уголке моей памяти. Именно там возникает передо мной, внезапно, как чёртик из коробочки, экстравагантный силуэт моей кузины Клементины. Именно там вырос мой кузен Поль, чью абсолютную безупречность я восхвалял в «Семейных портретах». Тех, кто его знал, возможно, опечалит известие о том, что он умер в этом году в Коломбе, недалеко от Парижа… Однако вернемся к собору Сен-Мишель. Его огромные стрельчатые окна в стиле пламенеющей готики, его витражи со множеством фигур, облаченных в сияющие одежды, его изящные колонны, вершины которых напоминают раскидистые снопы, его статуи из позолоченного дерева, заставляющие вспомнить Монтаньеса и Алонсо Кано, его священные реликвии в драгоценных ковчежцах вызывают благоговение не только у меня. Они насыщены радостью, как нескончаемый праздник, на который достаточно бросить

единственный взгляд, чтобы навсегда им очароваться. О, Сен-Мишель-де-Лион, «львиный» собор! Его старинных каменных львов я гладил своей еще детской рукой всякий раз, проходя мимо, – они стали для меня словно бы предшественниками венецианских львов с площади Святого Марка. Как торжественно звучит имя этого собора в ушах того, кто сам рожден под знаком Льва – 26 июля!

С Лиможем также связаны драгоценные для меня дружеские отношения с отцом Крювейе (известная в этих краях фамилия) из Конгрегации Святого Сульпиция, знаменитым востоковедом, который испытывал ко мне такую привязанность, что хотел сделать юнца, каким я тогда был, своим спутником в паломничестве на Синай, предпринятом им в 1900 году, – но мои родители этого не позволили. Примерно в ту же пору, покровительствуемый и наставляемый аббатом Дегранжем, я познакомился в Лиможе с аббатом Жаном Мориаком, и эта встреча несколько осложнила отношения, установившиеся между мною и Франсуа чуть позже. Но, может быть, без нее Клод никогда не написал бы свое «Проникновение в тайну преисподней»[1], посвященное мне?

В Лиможе профессия моего отца окружена особым почетом – многовековой корпорации мясников дарованы здесь особые привилегии:

---

1 Опубликованное в 1938 году эссе Клода Мориака (1914–1996), старшего сына Франсуа Мориака (1885–1970), лауреата Нобелевской премии по литературе.

у нее есть своя улица, своя церковь, свой клуб, свой покровитель – святой Аврелиан, и она же хранит ключи от города. Принадлежащая к ней семья Маленво, один из представителей которой носил прозвище Ангел, а другой – Мантуанец, известна далеко за пределами города. Каждый считал за честь входить в круг их друзей или, по крайней мере, коллег.

Лимож вызывал у меня интерес еще и благодаря своему ценному фарфору и эмалям, которые требуют обжига, чтобы сохранять яркость красок и небывалую прочность. Если бы я не был писателем, то хотел бы стать художником по эмали. Но оставим эти мечты, пусть и не развеянные до сих пор.

Сейчас, когда передо мной вновь оживают краски и запахи Лиможа той поры, мне хотелось бы перечислить все те сокровища, которые природа и мир в изобилии создали в нем, на радость нашим взорам. Для меня Лимож – в первую очередь край цветов. Между шестью и девятью годами, всякий раз в конце марта, словно соблюдая некий ритуал, я сопровождал сестру моей матери, тетю Александрину, в ее путешествии из Герета в Лимож на Пляс де Банк, где она покупала целые охапки резеды, гелиотропов, цинний, вербены, роз, – которые мы потом сажали в нашем собственном саду на рю Сен-Клер, возле Куртий.

Вот так, с некоторой наивностью, я описал тридцать лет назад одно из наших долгих пу-

тешествий, едва не обернувшееся трагедией. На самом деле, это произошло уже на обратном пути, в Сен-Сюльпис-Лорьер, где мы должны были сделать пересадку, но мы перепутали поезда и сели в тот, который привез нас, двух недотёп, обратно в Лимож:

«Цветы спали в деревянном ящике, выглядевшем мрачно, как гроб. Но сквозь укрывавшие их камышовые и ивовые прутья можно было разглядеть яркие венчики. Путешественники проводили их глазами, пока носильщики волокли ящик от одного поезда к другому. На удивление быстро стемнело, и они не сразу поняли, что сели не в тот поезд, в котором уехали их цветы, а в другой, следовавший в обратном направлении.

Расспрашивать тетю Александрину было бесполезно. «Мы совсем одни, мы едем по незнакомым местам, бог весть куда», – говорил себе Теофиль; он размышлял, сколько дорог на Земле, о которых он ничего не знает. Ему начинала нравиться эта неизвестность. Тетя Александрина плакала – она истратила все деньги до последнего гроша.

Теофиль вспомнил, что завтра в школе будет контрольная по чтению и чистописанию, и это его огорчило. Но потом он подумал, что, может быть, они потерялись навсегда, и эта мысль его утешила.

Он проголодался, но из еды нашелся лишь медовый коржик, в котором оказалось полно муравьев.

В полночь поезд остановился. Тетя Александрина совершенно преобразилась, выйдя из него, – теперь она казалась совсем другой женщиной, словно принадлежавшей иному миру, даже как будто стала выше ростом. Огромный вокзал выглядел пугающе со своими глазами-окнами, откуда лился яркий свет, пронзая темноту, небывало густую, какой путешественники никогда прежде не видели.

Им пришлось умолять о помощи человека, увенчанного расшитой золотом фуражкой, который обращался с ними крайне грубо, – но они, измученные голодом и усталостью, не отступались. Оказалось, что они вернулись обратно в столицу своей провинции. На следующий день они были дома».

Почему я вспоминаю сейчас эти скромные записки? Потому что мне кажется уместным прежде всего остановиться на том, что создает между нами некую особую связь. Вот еще несколько страниц из «Юности Теофиля», повествующих о том, как подействовал на мое детское воображение вид усыпальницы Святого Марциала, весьма почитаемого в этих краях:

«Перед ним возвышалось мраморное надгробие, украшенное золотом и драгоценными камнями. Голос священника отдавался под сводами собора. Путь, которым должна была пройти душа Теофиля, чтобы вновь оказаться лицом к лицу с тайной под сенью узорных свечей,

изобиловал апокалиптическими чудовищами. Потребовались века, чтобы вернуться сюда.

Теофиль никогда не рассказывал об этом надгробии – как о слишком сложной вещи, недоступной их пониманию, – другим детям из Шаминадура[1]; лишь про себя он раздумывал о том, какое значение имела для него эта
14 поездка. Он вспоминал о ней в уединении, на переменах или на прогулках, опустив голову на руку, и это воспоминание было для него неисчерпаемым сокровищем, принадлежащим ему безраздельно, которое никто и никогда не смог бы у него отнять.

Он всё более охотно проводил время в одиночестве.

Его школьные приятели быстро заметили, что он ведет себя по-дурацки, что он не такой, как они, к тому же у него раздвоенная заячья губа и одет он (стараниями тети Александрины) в нелепый балахон, напоминающий стихарь. Он тоже сторонился их и больше никогда не присоединялся к их веселой ватаге.

Воспоминание об усыпальнице отделило его от остальных. Это было мучительно. Его отдельность больше не означала его превосходства.

Вскоре он света божьего не взвидел, потому что каждое утро десяток-другой учеников поджидали его во дворе пансионата.

---

1 Так Марсель Жуандо называл в своих книгах свой родной город Герет.

Когда он входил в эту обитель мучений, все сначала замолкали, а потом шипели ему вслед:

– Гробовщик пришел! Гробовщик! Заячья морда!

И вереницей шли за ним, изображая похоронную процессию. Если ему случалось заплакать, они хохотали. Если он заставлял себя улыбаться, они делали вид, что плачут.

Постепенно они разохотились и стали выдумывать более жестокие издевательства. Они ловили его и играли в «казнь», изображая, будто четвертуют его или вырывают ему язык, вонзая пальцы в его шею прямо под ушами.

В этих местах оставались кровоточащие царапины, но Теофиль вспоминал проповедь священника, которую слушал возле усыпальницы, в окружении горящих свечей, – и терпел.

Он воскрешал в памяти страдания святого, которые как бы становились и его собственными, и понимал, что это такое – быть мучеником.

Священник в ореоле света обращался к нему одному, пророча скорби, которые ему суждено претерпеть от людей.

Каким родным казалось теперь ему это надгробие!

Он мгновенно охватывал взглядом сразу все драгоценные камни, рядом с которыми показалось бы тусклым даже солнце.

Он пересчитывал бесконечные золотые круги, обволакивающие его, словно кокон, и низвергался в роскошную обитель, которой

становилось для него страдание. Там уже никто не мог добраться до него. Он погружался в эту бездну настолько глубоко, что соученики тщетно пытались заставить его страдать – это было всё равно что глумиться над мертвецом. Теперь он не кричал и не плакал, подвергаясь их издевательствам, и даже больше не кровоточил, словно стал неуязвимым или даже недосягаемым для рук своих палачей».

Я позволил себе процитировать эти страницы не только потому, что отправной точкой описываемых событий стал Лимож. На самом деле они являются ключом ко всем моим «Историям», к почти всему, что было мною создано в юности. В те времена я вовсе не хотел – и не умел – делать то, что делал. Образ действий, когда они спонтанны, осознается в результате некоего душевного потрясения: оказалось, что всякий раз, как только мне хотелось пристальнее вглядеться в человека, чтобы записать его историю, я неизменно останавливал внимание на ком-то из самых смиренных, самых страждущих, самых презираемых существ, – чтобы, переходя от метафор к метаморфозам, возвысить его, и в финале – вознести на такую высоту, где он становился неуязвимым и недосягаемым для всех скорбей.

Мадемуазель Зелин[1], столь деликатная, столь утонченно-эгоистичная, которая сдела-

1 Героиня романа Марселя Жуандо «Семья Пинсгрен» (1924).

ла, как ей казалось, всё для того, чтобы жить и умереть счастливой, – умерла в больничной палате, где одна из ее соседок была золотушной, гниющей заживо, а другая – эпилептичкой, чье лицо, обезображенное в результате множества падений, почти касалось ее лица; но перед самой смертью она сказала:

– Сегодня ночью мне приснилось, что я – распятый Иисус.

Старая Франсуаза, готовая на всё, чтобы выбраться из своего проклятого тупика возле улицы Таннери, соглашалась умереть на Гранд рю в детстве – но что такое детство, если не Рай? Прюданс Отшом[1], которую скупость толкнула на воровство, а воровство – на другие гнусности, оказалась в тюрьме, но там ей устроили роскошную свадьбу, не хуже, чем в церкви, – об этом рассказывал Жан Кокто. Майор по прозвищу Длинный Тит[2], одряхлевший, обнищавший, всеми осмеянный, лишился крова и спал под открытым небом – но только освободившись от военной формы, он перестал быть манекеном, автоматом, и познал неведомую доселе радость открытия, что он такой же человек, как все остальные. Клодомир-убийца[3] прикончил любовника своей жены. Его кро-

1 Роман Марселя Жуандо «Прюданс Отшом» вышел в 1927 году.

2 Роман Марселя Жуандо «Длинный Тит» вышел в 1932 году.

3 Герой рассказа Марселя Жуандо, опубликованного в 1922 году.

вавый ореол вызвал уважение к нему во всем квартале, и даже священник здоровался с ним крайне почтительно. Месье Годо[1] умер прокаженным, с изуродованным до неузнаваемости лицом, но перед смертью спросил у своего ангела-хранителя, Вероники:

– Еще заметно, что я улыбаюсь?

18 Если бы, рассказав обо всех этих судьбах, я перешел к своей собственной, к своему писательскому призванию, если бы задался вопросом: почему и как я начал писать? – то мог бы ответить себе: потому что мне казалось важным передать моим собратьям послание, суть которого в следующем. С самого юного возраста меня притягивало, восхищало, изумляло, ошеломляло величие человеческой души – и я испытывал уверенность в том, что каждый, каким бы убогим и презренным он ни выглядел, носит в себе тайну своего собственного волшебного преображения.

Без сомнения, именно христианская религия позволила мне сделать это открытие, а оно, в свою очередь, побудило меня к поэзии (я подразумеваю поэзию в самом широком смысле – в том, который придавали этому слову древние греки). К моменту моего первого причастия на меня оказывала очень большое влияние одна девочка, красивая и трогательно-хрупкая, чье здоровье не позволяло

1 Главный герой цикла книг Марселя Жуандо.

ей жить в лиможском монастыре кармелиток (и опять мы возвращаемся к Лиможу!). Мы с ней почти не расставались. (Впоследствии она смогла уйти в этот монастырь.) Это она приносила мне книги, чьи страницы распахивали передо мной невероятно захватывающие духовные перспективы: житие святой Терезы, откуда мне навсегда запомнилось описание преисподней, и труды святого Хуана де ла Крус, из которых мне наиболее памятно изречение: «Одна-единственная человеческая мысль драгоценнее всего мира».

Конечно, если бы мне выпала возможность прожить свою жизнь заново, я извлек бы больше пользы из этих уроков, – но я никогда бы не выбрал снова ремесло писателя. В мои времена оно еще было в какой-то мере поводом для гордости. Но сегодня – уже нет. Если бы мне сейчас было двадцать лет, я бы гораздо охотнее стал художником по эмали, как я уже говорил. Но нет, скорее всего, я был бы обычным преподавателем, как раньше, или садовником – всё что угодно, только бы не браться больше за перо. Множество молодых людей, которые на моих глазах приходят в литературу, даже не задумываются над тем, есть ли у них талант, есть ли у них что сказать миру. Они хотят писать, и всё тут. Для них это способ приятно проводить время и зарабатывать деньги. Они пишут бог весть что, но постоянно ошиваются на коктейлях, потому что именно там создаются литературные репутации.

Издатели мягко стелят, их друзья-критики поддают жару – и вот перед нами новоиспеченный художник слова, пишущий в черных или, хуже того, розовых тонах, а вот – убитый французский язык, тот французский язык, о котором Поль Леото[1] совсем недавно говорил мне со священным трепетом, что это его родина.

20 Моя жизнь сплетена из противоречий. Сын мясника из Герета – на что я мог претендовать? Даже сейчас нелегко (а полвека назад было еще труднее) перейти из одного класса общества в другой, если речь идет о пути наверх. Сколько предрассудков нужно было победить – и в других, и особенно в себе самом! От скольких дурных привычек пришлось избавляться – и в языке, и в манерах… К счастью, насколько моя семья была скромна по своему положению, настолько же утонченна она была в своих суждениях, вкусах и манере высказываться. Не стоит, конечно, если захочется узнать побольше о моих предках, расспрашивать тех, кого отсутствие душевной чуткости, бессознательная неприязнь или зависть побудят возвести на них напраслину и вдобавок подкрепить ее тем якобы очевидным для всех убеждением, что мясник может быть только лишь грубияном и невежей. Даже воспитанные и образованные люди, если они лишены интуиции, видят лишь нашу оболочку, пан-

1 Поль Леото (1872–1956), писатель и театральный критик, автор знаменитых дневников.

цирь. Мне вспоминается один очень талантливый адвокат, чья безупречная достойная жизнь снискала ему уважение во всей центральной Франции. Так вот, этот замечательный человек, который вполне мог встречать прототипов моих персонажей или хотя бы слышать о них от знакомых, прочитав мои первые книги, воскликнул: «И где только этот чертов Марсель такое откопал?!» Что до меня, я не испытываю предубеждений против кого бы то ни было, даже если речь идет о людях самого скромного происхождения. Четвертый том моих «Воспоминаний», который вскоре выйдет в издательстве «Галлимар»[1], целиком и полностью посвящен мясникам и их подручным, которые работали у моего отца. Судьбы некоторых из них достойны того, чтобы войти в «Жития святых». Но кто сумел это заметить?

Позволю себе прочитать, раз уж об этом зашла речь, главу, посвященную одному из них, – «Антуан несгибаемый».

«Из-за того, что он дрался каждый субботний вечер, Антуан почти утратил человеческие черты, и когда ему пришла пора нести воинскую службу, его отправили в Батальоны легкой пехоты Африки[2]. Там он сотню раз был

1 Книга «Подмастерья и мальчики» вышла в 1953 году.

2 Подразделения колониальных войск, отличавшиеся жесткой дисциплиной. Обычно использовались

на волосок от смерти и выдержал мучительное заключение в силосной яме, служившей карцером, – за оскорбления, нанесенные унтер-офицеру.

Сделавшись отныне непримиримым врагом общества, он обосновался в сельской местности, где построил себе в поле хижину и соорудил повозку, для которой использовал ящики из-под бакалеи и велосипедные колеса. В нее он запрягал двух огромных сторожевых псов и возил на ней в Герет спички собственного изготовления для продажи на черном рынке.

Весь в шрамах, с отрубленным ухом, глазами, расположенными один выше другого, всегда навьюченный какими-то узлами и свертками, – он обращался со всеми нагло и заносчиво. Единственными, кому он выказывал почтение, были мои родители, которых он называл «патрон» и «патронесса».

В один прекрасный день вся округа узнала, что он женится. Как?! Возможно ли это? Оказалось, что да. И его невеста была, как и положено, юной девушкой. Они обвенчались в церкви, и он увез свою законную добычу, то есть свою спутницу жизни, всю в белом, в запряженном собаками свадебном экипаже в свою хижину в полях.

Были ли они счастливы? Марта обожала его и подарила ему двух детей – и вот в 1914 году разразилась война. Антуану пришлось воз-

---

для дорожных и строительных работ, но при необходимости – и для боевых действий.

вращаться в Африку. Вскоре после того, как он уехал, Марта умерла от горя. Узнав об этом, он, не раздумывая, пустился в обратный путь, переплыл море, пересек Францию, прошел без остановки Герет, где спала его мать. Он остановился лишь у домишки путевого обходчика, у которого одолжил лопату и заступ, и отправился прямиком на кладбище Сен-Вори, где среди ночи разрыл могилу своей жены, чтобы поцеловать ее в последний раз. Я едва мог вообразить эту сцену, не уступающую шекспировским.

Когда его увольнительная закончилась, он снова отбыл в часть. Окончательно вернувшись домой, он вскоре умер в приюте для бедняков.

О его кончине мне рассказала его мать.

Сестры из Шарите-де-Бурж, которые знали его с детства, убедили его исповедоваться. Но он согласился это сделать, только если исповедником будет священнослужитель самого скромного ранга.

Когда тот прибыл, Антуан, завидев его еще издалека, воскликнул:

– Святой отец, воистину я сотворил много зла – но только самому себе! Я прошу у себя прощения. – И с этими словами навсегда закрыл глаза».

Конечно, многие не преминут упрекнуть меня в том, что я замечаю вокруг одни лишь страдания, – и почти никто не поблагодарит за то, что в финале я открываю в моем герое –

или дарю ему – душу, возносящую его к небесам… Однако моей целью вовсе не является идеализировать жизнь. Я хочу лишь изобразить ее такой, как она есть, – во всех проявлениях морали и аморальности, во всем убожестве и во всем величии.

Но вернемся к моему отцу. Он умел считать и обсчитывать – в обоих значениях этого слова, поэтому дела у него шли хорошо; он, как говорится, своего не упускал. Однако по роду занятий он был всего лишь мясником, то есть человеком приземленным. В «Шаминадуре», моем недавно переизданном сборнике рассказов, лучшие посвящены ему, прежде всего – его неподражаемой манере говорить. Его трепещущие ноздри (у него был самый благородный нос на свете – изящный, с распростертыми крыльями; однажды я сделал комплимент Жану-Луи Барро[1], сказав, что у него такой же нос, как у моего отца, глядя на который, думаешь о том, что крылья у серафимов не за спиной, как принято считать, а в центре лика) – так вот, его трепещущие ноздри и сверкающие глаза оказывали завораживающее действие на любого слушателя его историй, которые он благодаря этому мог длить до бесконечности, искусно чередуя драматические приемы и управляя вниманием аудитории, – и вот, когда вы, замерев с бьющимся сердцем, нетерпеливо ожидали развязки, он

1 Жан-Луи Барро (1910–1994) – актер и режиссер.

в последний раз возвышал голос и торжественно заканчивал свой рассказ, сопровождая его взрывом смеха или коротким всхлипом.

С другой стороны, речь моей матери была исполнена такого очарования, что самые знатные дамы Герета, преподавательницы обоих лицеев, и среди них – мадемуазель Экар и мадемуазель Рифо, которых мадемуазель Пейра наверняка помнит, – с удовольствием задерживались, чтобы поболтать с ней, точнее, послушать ее, как певчую птицу. Они часто признавались мне, что это доставляет им удовольствие. Чуть позже я подробнее расскажу о моей матери. Пока момент для этого еще не настал.

Итак, взращенный, словно наследный принц, в этом довольно варварском королевстве, которое являла собой мясницкая, в тесных границах двух прямых и узких улиц, словно две большие латинские i, расходящиеся в разные стороны от Рыночной площади: одна от бывшего здания мэрии (на ней жили родители), другая – от бывшей тюрьмы (на этой улице у моей бабушки была пекарня), – я владычествовал здесь над всем, окруженный невероятным разнообразием живописных типажей, встречающихся буквально на каждом шагу, – до сих пор и семья Краклен, и семья По, и Прюданс Оттшом, и Ноэми Бодо, похожая на накрашенную покойницу, не изгладились из моей памяти. Я встретил их в жизни и запечатлел с неловкостью начинающего живописца, – который,

увы, «не волшебник, а только учится», – но, написав их портреты, я всё же сумел привести в действие какой-то скрытый творческий механизм, вибрации которого ощущаю по сей день. Об этом я подробнее говорил в интервью *Figaro Littéraire* в прошлом году в Герете.

Стоит сказать, что в детстве я никогда не чувствовал недостатка в поддержке, не ощущал себя заброшенным: благодаря заботам уже упоминавшейся тети Александрины, сестры матери, умной и образованной, всецело посвятившей себя мне, я получил прекрасное начальное образование. Увы! Она умерла слишком рано, в 1897 году.

Мадемуазель Пейра настаивала, чтобы я прочитал здесь фрагмент, посвященный сестре моей матери, написанный в 1943-м, кажется, году и включенный в «Опыт о самом себе». Вот он:

«Смею ли я, пробудясь в такую раннюю пору (сейчас половина пятого утра) пробудить и тебя в своих воспоминаниях, тетя Александрина? Если ты сейчас видишь меня с небес, сидящего за этим маленьким игорным столиком, и Элизу[1], спящую рядом, – как ты, должно быть, счастлива, созерцая тот путь, который я прошел с тех пор, как ты меня оставила. Мне было всего девять лет в тот день, 14 августа 1897 года, когда ты умерла в девять часов

1 Жена Марселя Жуандо и героиня его автобиографических сочинений.

утра. Я по-прежнему вижу, как дядя Анри в одной рубашке без пиджака выходит из спальни, где только что закрыл тебе глаза, и негромко произносит, погружая руки в воду, налитую в мерное ведерко: «Кончено».

Уже начались летние каникулы, и мы похоронили тебя на следующий день, как раз на Успение, между обедней и вечерней. В тот же день были именины у матери; с тех пор этот праздник навсегда стал для нее омраченным, словно отравленным. Какой теплой и золотистой была в тот летний полдень земля, в которую мы положили тебя среди цветов – словно в мою разверстую душу! Ах, как передать тебе всю глубину моего смятения – и от того, что именно с тебя началось мое знакомство со смертью, и от того, что это произошло так рано, прежде чем я смог в полной мере осознать ее существование! Я хотел бы вновь отыскать каждую выбоину на тех дорогах, которыми целую неделю после твоей смерти в одиночестве бродил вокруг города, как потерянный. Ни с чем не сравнится чувство полной оставленности, вызванное у меня твоей агонией, которая, без сомнения, была вдвойне мучительной для тебя еще и потому, что физические страдания усугублялись грядущей невозможностью видеть и оберегать меня. С какой страстью (больше ни разу в жизни я не встречал ничего подобного) ты обхватила мою голову ладонями и воскликнула: «Никогда!..» – как только меня подвели к тебе, чтобы

попрощаться. И какая странная, поразительная деталь, навсегда запечатлевшаяся во мне, воспоминание о которой всякий раз вызывает нечто вроде опьянения, – ни до, ни после я не встречал столь тонкого, но в то же время отчетливо ощутимого и стойкого аромата, как в тот момент, когда ты перестала быть. Он шел от керамической банки с вареньем

из грецких орехов, которое ты приготовила незадолго до того, как слегла, и которое никто так и не попробовал из почтения к тебе, – но отчего же я до сих пор чувствую его, когда думаю о твоей смерти? Отчего должно было случиться так, что твоя смерть пахнет вареньем из грецких орехов? Стоит лишь мне приблизиться к платяному шкафу, где ты перед тем, как в последний раз лечь в постель, спрятала банку за висящими на вешалке пальто… но где те пальто, где тот шкаф, сама та комната? Где твои руки, увенчавшие банку с драгоценным содержимым крышкой из вощеной бумаги? Всё рассыпалось в прах. Всё, даже дом. Ничего этого больше нет нигде – только в крохотном уголке моей души, словно нетленная реликвия в ковчежце, сохраняется этот аромат, окутавший когда-то твое смертное ложе, – и я по-прежнему вдыхаю его. Я помню керамическую банку, помню ее цвет, гладкость, округлую форму под моими пальцами – она была серой в рыжеватую рельефную крапинку вокруг ободка; я не только вижу, но и почти осязаю ее, для меня она так же реальна, как ча-

ша в руках Магдалины на картине «Авиньонская Пьета», более реальна, чем в тот день, когда я своими глазами увидел, как ты убираешь ее в темное укрытие, где до поры до времени ее никто не потревожит, – и благодаря ей я вижу и всё остальное вокруг тебя, все предметы, каждый на своем месте, твою и мою верхнюю одежду, укрывающую ее, шкаф, комнату, которую мы делим на троих: бабушка, ты и я…

Я часто думаю о тебе. Я спрашиваю себя, где ты? Этот вопрос всегда прерывает мои воспоминания – потому что я не знаю. Мне нечего себе ответить.

Ты была умной маленькой девочкой, достаточно красивой, если верить портретам, но тебе не суждено было стать юной: тяжелые обстоятельства, в которых ты росла, этого не позволили – ты была всего на шестнадцать лет моложе своей матери, и ее пожизненное вдовство стало отчасти и твоим – ты так рано разделила с ней одиночество, печаль и бремя забот, став второй матерью для моей матери и дяди Анри, которые были еще совсем маленькими, когда вы все трое потеряли отца…

Что я знаю точно – все окружающие не только любили тебя, но и относились к тебе с почтением, безошибочным признаком которого служило то, что никто и никогда не называл тебя детским уменьшительным именем, несмотря ни на возраст, ни на бедность. На чем же основывалось твое величие? Ведь именно оно предшествовало благородному обращению «маде-

муазель». «Мадемуазель Александрина» – так могли называть только достойную особу, и отблеск твоего достоинства падал и на меня. Ты заслужила это – и своей добротой, и беспредельной самоотверженностью, прежде всего по отношению к своим близким, но также и ко всем остальным, и хорошей воспитанностью, и образованностью, и умом, который никогда не переставала совершенствовать.

А твои бесконечные щедроты?.. Я вспоминаю, как ты каждый год, за неделю до первого января, выходила из дома с туго набитым кошельком на поясе и, часто даже вопреки желанию своей матери, шла от одного магазина к другому, а потом возвращалась с полными руками разноцветных гирлянд, маскарадных накидок, лакированных шкатулок, кукол, полишинелей, апельсинов, конфет… Никто не должен был остаться без подарка – и, если вдруг выяснялось, что о ком-то всё же забыли, ты снова отправлялась в поход. Ты угощала сладостями не только меня, но и весь квартал. Любому достаточно было оказать тебе какую-нибудь небольшую любезность в уходящем году – или просто улыбнуться – и ты сразу же вносила его в памятную записную книжку вместе с другими, кого следовало одарить.

Какое счастливое время!.. Все поздравляют и одаривают друг друга, словно соревнуясь в щедрости. На улицах с самого утра встречаешь знакомых, нагруженных подарками, – все

обмениваются ими, обнимаются и целуются. Эти рождественские чудеса чаще всего были заслугой одного-единственного человека, который совершал их сам и вдохновил на это всех остальных – да, тетя Александрина, я верю, что этим обычаем наш городок обязан тебе. Я точно помню, что он забылся вскоре после твоей смерти, и это лишний раз убеждает меня в том, что ты была нашим добрым гением».

Итак, тетя Александрина умерла, когда мне было девять лет, – и, предоставленный сам себе, я впал в нечто вроде сна Эпименида[1]. Эта долгая сатурнианская ночь длилась на протяжении всего моего отрочества и была такой темной, что я отказался сдавать выпускные экзамены. Но не стоит заблуждаться – ничто не дало мне больше, чем эта благотворная тьма, в которой царили две Эгерии[2], две избранные жрицы.

После тети Александрины моими наставницами стали Кармелитка и мадам Альбан, историю которой я рассказал в третьей части «Теофи-

1 Эпименид – древнегреческий жрец и провидец (VII–VI вв. до н. э.). По преданию, пророческий дар он обрел после того, как юношей уснул в пещере и проснулся через 57 лет.

2 Эгерия – в древнеримской мифологии нимфа-прорицательница, супруга царя Нумы Помпилия и его наставница в религиозной и законотворческой деятельности.

ля». Макс Жакоб[1] часто говорил, что настолько идеального союза он не встречал в литературе. Он имел в виду ситуацию, когда женщина из высшего света, уже в возрасте, истово набожная, страдающая от того, что путь в священники для нее закрыт из-за ее пола, берет под покровительство молодого человека, чтобы сделать из него своего личного священнослужителя и благодаря ему стать полноправной участницей мистерий, которые они проводят только вдвоем.

Этим молодым человеком был я. Заметив подвох, я решил сбросить с себя путы и возобновил школьные занятия с того места, где их прервал. Я сдал экзамены блестяще – настолько, что по совету именитого профессора, месье Бастерга, которому уже воспел хвалу Жюль Марузо[2], мои родители согласились отправить меня в Париж, чтобы я закончил там класс риторики[3]. Тот год, проведенный в Лицее Генриха IV, среди замечательных друзей, под руководством выдающихся преподавателей – Рене Пишона и Леона Брауншвейга, стал для меня решающим.

Именно после моего отъезда, когда мы с матерью оказались далеки друг от друга

---

1 Макс Жакоб (1876–1944) – поэт. Письма Марселя Жуандо Максу Жакобу вышли отдельным изданием в 2002 году.

2 Жюль Марузо (1878–1964) – филолог.

3 Предпоследний класс во французской средней школе.

в буквальном смысле слова, она начала играть в моей жизни самую важную роль. Она писала мне каждый божий день – и каждый день я ей отвечал. Этот «роман в письмах» длился вплоть до моей женитьбы – иными словами, почти четверть века. Благодаря этому между моей глубинкой и мной всегда сохранялась связь, подобная материнской пуповине, – она не прервалась и до сих пор.

Сколько бы я ни жил в Париже – я постоянно думал о Герете, дышал Геретом, Герет навсегда впитался в мою плоть и кровь. Каждое новое письмо не только напоминало мне о моих корнях – оно заключало в себе нравственные ориентиры и ценности. Каждое утро я держал в руках новое сокровище – драгоценный образец стиля, бриллиант чистой воды. После этих наставлений уже невозможно было оступиться, обмануться. Без обилия прилагательных, без употребления вычурных слов, которые не входили в ее повседневный лексикон, моя мать достигала наивысшего красноречия. Ее письма отличались простотой, безыскусностью и образцовой лаконичностью. Правда, у нее слегка хромала орфография, но это роднило ее письма с Библией де Саси[1], формата ин-кварто, всегда раскрытой на моем письменном столе, в которой одно и то же слово

1 Луи-Исаак Леметр де Саси (1613–1684) – французский богослов, янсенист, автор первого перевода Библии на французский язык (совместно с Блезом Паскалем, Робером Арно и другими).

может трижды встречаться на одной странице написанным каждый раз иначе. К исправлению подобных огрехов имеют пристрастие только зануды-педанты, чьими стараниями полностью выхолощен французский язык. К счастью, я сохранил целые связки материнских писем. В 1935 году (мать была еще жива) *Nouvelle Revue française* опубликовала некоторые из них

под общим заголовком «Письма матери к сыну». И сразу же многие критики, в частности, Анри Массис и Бразийяк, один – в *Revue Universelle,* другой – в *Action française,* не особенно разбираясь, приписали авторство этих посланий матери Колетт. Но нет – знаменитая Сидо обладала умением писать и знала об этом, а моя мать понятия об этом не имела. Для нее эти письма были лишь неким окольным путем, которым она могла навестить меня, вот и всё. Месье Галлимар хранит эту переписку у себя. Когда он ее опубликует[1], утверждала Клэр Сент-Солин, все скажут: «Вот это подлинный геретский стиль» (как говорят: «настоящий обюссонский ковер»), но будут иметь в виду стиль не Марселя Жуандо, а его матери. Можете себе представить, какой гордостью наполнили меня эти слова.

Изначально я не собирался читать эти письма вслух, но думаю, что, если я не познакомлю вас хотя бы с некоторыми образчиками того, что я так расхвалил, вы справедливо сочтете меня шарлатаном. Я мог бы прочитать десятки

1 «Письма матери к сыну» вышли в издательстве «Галлимар» в 1971 году.

писем, но ограничусь всего пятью, из которых первое будет самым длинным. Мать написала мне его в феврале 1914 года – когда, терзаемый сомнениями, я в свои двадцать шесть лет уничтожил всё то, что написал ранее.

«Мой маленький Марсель!

Ты, наверное, весь измучился, раз уж решил расстаться со всеми своими бумагами – и всё же, как по мне, это к лучшему. Сколько раз я тебя бранила, когда видела, как ты устаешь от своего каторжного труда – и ради чего? Я тебя часто об этом спрашивала: зачем так себя изнурять, зачем забивать себе голову? Но ты мне говорил: всё будет хорошо, я это ясно вижу. А на следующий день ты снова видел всё в черном свете. Сколько разочарований! Сколько дней ты провел в тоске! Сколько ночей не спал – и всё зря! Я не хочу, чтобы ты снова взялся за старое. День, когда ты избавился от этого всего, – это лучший день твоей жизни! Благодари Бога, что Он дал тебе мужество это сделать, и моли Его о том, чтобы эта страсть не вернулась к тебе, чтобы ты смог делать то же, что и все – работать, но работать над тем, что принесет тебе пользу, а не будет мучить тебя, как раньше мучило то, что ты уничтожил. Ты не представляешь, какую я чувствовала радость, какое облегчение, когда узнала об этом! Ты можешь сказать, что я злая, потому что радуюсь твоим страда-

ниям. Нет, когда тебе больно, мне еще больнее, но я говорю себе: он больше не будет одержим этой работой, которая тянет из него все соки, разрушает здоровье – и ради чего? Чтобы когда-нибудь получить в награду – что? Все мы когда-нибудь дождемся смерти, она и будет нам наградой… Работай, мальчик мой, ради того, чтобы быть счастливым, хотя это и не очень подходящее слово, потому что здесь, на этом свете, быть счастливым невозможно. Всегда случится что-нибудь такое, что обратит радость в горе. Ты ведь у нас немножко философ, так вот послушай моего совета: бывают дни удачные, бывают неудачные, но не надо принимать близко к сердцу ни радости, ни печали. Принимай их как есть, всё равно все они пройдут. Жизнь не так длинна, чтобы отравлять себе душу земными невзгодами.

Прощай, мой хороший.

Твоя мама, которая любит тебя больше всех, *всех!*»

(Мать всегда повторяла это «всех» дважды, и всякий раз подчеркивала второе слово.)

В письме, написанном в пятницу, 6 марта, она снова возвращается к этой теме:

«Мой дорогой Марсель!

По твоему письму, которое пришло сегодня утром, видно, что у тебя опять мрачные мысли.

Но, как я уже говорила в прошлый раз, – почему бы тебе не продолжать писать какие-нибудь небольшие вещицы о том, что тебе интересно, чтобы иногда отдыхать от латыни и греческого. Только пиши сначала для себя, а потом, когда увидишь, что получается хорошо, из этого можно будет сделать книжку. Вот я пишу тебе это, мой дорогой мальчик, хотя, как ты знаешь, не очень разбираюсь в таких вещах, но очень хорошо понимаю, что от работы, которой ты занимался три года, тебе нелегко отказаться. Пусть это останется с тобой, но только если тебе от этого легче на душе и нет вреда для здоровья. Ох, дорогой мой, как часто в жизни приходится делать то, что не хочется! Поверь, и мне доводилось смиряться со многим, чего мне не хотелось, – нелегко жить рядом с теми, кого не любишь, кого ненавидишь, кто разбил тебе сердце в юности… Но когда-нибудь, вот увидишь, тебе всё равно будет приятно об этом вспомнить. Ты будешь вспоминать об ударах судьбы и о своих мучениях, так как они остались запечатлены в памяти, они не забудутся, но тебе понравится перебирать эти воспоминания, потому что ты сможешь сказать себе: я это преодолел, я это выдержал! Поэтому, дорогой, не беспокойся ни о чем, что бы ни случилось. Вот увидишь, твое любимое дело у тебя будет получаться всё лучше и лучше, раз уж ты вложил в него столько сил, и чем дальше будешь двигаться, чем больше развиваться, тем ценнее будет результат. На том пу-

ти, который ты выбрал, для того чтобы создать что-то значимое, надо сначала многое пережить. Надо узнать добро, но также необходимо встретиться со злом. Не надо бояться этого испытания, оно не разрушит тебя. Просто тебе нужно, как говорится, почувствовать жизнь. Мы еще поговорим с тобой об этом, до нашей встречи остался 31 день. Главное, не забывай,

что здесь тебя по-прежнему ждет твоя школа, куда ты можешь вернуться, прежде чем окончательно выберешь свой путь. И конечно, здесь всегда будет тебя ждать твоя мама. Подумай о том, насколько труднее в жизни тем, кто всего лишен. А у тебя, мой дорогой, всё есть, и я тоже ни в чем не нуждаюсь, хотя, конечно, стараюсь экономить и избегать лишних трат. И, как я уже говорила, продолжай писать, если это идет тебе на благо, дает возможность немного отвлечься от учебы и прибавляет бодрости. Но и обо всем остальном тоже не забывай. И пожалуйста, заботься о своем здоровье, чтобы и у меня на душе было спокойно».

А вот еще два письма, уже совсем другого рода – трогательные провинциальные хроники.

Среда (1921)

«Мой дорогой взрослый мальчик!

Сегодня я побывала на двух похоронах – *M. R.* и мадам *A.* На первых было полно народу со все-

го города и всей округи, а проводить мадам *А.* почти никто не пришел – все думали, что она, бедняжка, умерла давным-давно. Представь себе, последние пятнадцать лет она не выходила из дома. Но я часто ее навещала – она была сама доброта. Не могу передать, каким ударом ее смерть стала для сына – он не просто плакал, он рыдал. Лицо у него так распухло от слез, что все плакали от одного взгляда на него. Мари, его сестра, держалась куда холоднее. А ее зять, муж покойной Амели, объявил, что хочет продать мебель, когда тело еще даже не вынесли из дома! Бессердечный человек! Глядя, как убивается Леонс, я представила себе, что умерла и ты точно так же оплакиваешь меня. И мне стало так жалко и тебя, и его, потому что его я тоже всегда любила. Он был младше меня – я уже была взрослой девушкой, а он еще ребенком, и он ходил за мной хвостом. Каждый раз, как меня увидит, спросит: «Мари, куда ты идешь?». Я говорю: «Никуда», – а он: «Я тоже пойду с тобой никуда». Не так давно его бедная мать сказала мне: «Я молюсь только об одном – в последний раз увидеть его перед тем, как закрыть глаза». Но вышло иначе – когда он приехал, она уже умерла. Он добирался издалека, на корабле. Бедная мадам *А!* Похороны были не особо пышные, но достойные. Я говорила себе в утешение: она провела всю жизнь в нашей медвежьей глуши, но возносится на небеса под музыку».

А это письмо, написанное в 1934 году, рассказывает об одном памятном визите.

«Дорогой мой взрослый сын!

Сегодня в три часа пополудни я пришла в гости к нашему мэру. Я не хотела долго засиживаться, но они с женой всякий раз, как я собиралась уходить, просили меня остаться – я уж думала, никогда от них не выберусь. Ушла только в половине шестого. Мы успели наговориться обо всем. Он вспоминал, как во время путешествия повстречал тебя с женой, сказал, что она очень любезна. Поговорили о моих деревьях – теперь я знаю, как лучше позаботиться о них.

Жаль, что тебя с нами не было. Представь себе, их старая лошадь еще жива. Ей двадцать пять лет, но за ней очень хорошо ухаживают. Кроме стойла в конюшне, у нее есть огороженный участок, где она целыми днями может гулять в свое удовольствие. А больше она никуда не выходит уже лет десять. Они мне всё показали – и конюшню, и хлев. У них столько живности! Пять собак и пять кошек. Все живут в чистоте. Хозяйка о них заботится гораздо лучше, чем о себе самой. Сама она как будто забыла и про мыло, и про расческу. Выглядит замарашкой – а в доме нигде не пылинки, в гостиной всё сияет – в прошлое воскресенье они принимали у себя господина префекта».

Я прочту еще небольшой отрывок из письма, написанного в 1934 году, вскоре после смерти отца, где мать говорит о себе – по этим строчкам можно составить очень точное представление и о ней самой, и о том, какие чувства она питает ко мне:

«Ты советуешь мне отапливать спальню. Ну вот, я принесла поленьев, бумаги, сложила всё в камин – оставалось только чиркнуть спичкой, но я не стала. Я заснула и так. В постели мне тепло. И довольно с меня. Как-то не с руки топить камин для себя одной. Я подумала, что если буду лежать в кровати и смотреть на огонь, мне захочется, чтобы и ты его увидел – и тогда я вспомню, что тебя здесь нет…»

И в заключение – еще несколько строк, свидетельствующих о ее здравомыслии и проницательности по отношению к другим:

«Я рада, что ты понимаешь, почему я так отношусь к дамам *Х*. Воображают из себя бог весть что. Всякий раз, когда с ними говорю, нарочно строю из себя дурочку, а им того и надо: они ведь умней и лучше всех на свете. Но если не считать этой их заносчивости, в остальном они не так уж и плохи, а к тебе, похоже, питают самые нежные чувства. Не знаю, как там на самом деле, но тебе лучше сделать вид, что ты в это веришь. Я так и поступаю, и со стороны

посмотреть – так мы лучшие подруги. А до всего прочего кому какое дело».

Вот сейчас, читая эти письма вслух, я подумал: такое серьезное, трепетное отношение к мелочам, которые касаются, в сущности, только меня, – не делает ли оно меня смешным? Нет ничего более нелепого, чем придавать себе излишнюю значимость. Литературная деятельность весьма располагает к подобного рода заблуждениям. Мне доводилось, в больнице Святой Анны, слушать лекции знаменитых психиатров, которые в подтверждение своих слов представляли нам пациентов с теми или иными душевными расстройствами, порой довольно любопытными. Безумец заперт в своем собственном мире, который он отказывается соотносить с внешним и которого ему достаточно. Существует заметное сходство между писателем вроде меня и такими одержимыми. У меня, как и у большинства из них, хватает ума не демонстрировать мою внутреннюю вселенную окружающим. И разумеется, сам я как никто другой склонен подвергать сомнению мою объективную ценность. Мое сегодняшнее бахвальство не опасается иронии, в первую очередь моей собственной. У него, однако, есть основание: я подумал, что, выступая перед вами, я рискую вам наскучить, и единственный, пожалуй, способ этого избежать – говорить о том, что я знаю лучше всех, или даже что знаю только я один. Так, напри-

мер, я отличаюсь от других авторов тем, что никогда бы не согласился признать писательство своей профессией, своим ремеслом. Вот почему я тридцать семь лет подряд, с 1912 по 1949 год, преподавал в одном и том же учебном заведении. Таким образом я гарантировал своему перу независимость. Вот несколько строк из «Опыта о самом себе», которые, как мне кажется, раскрывают суть моей позиции:

«Что до меня, я не писатель в том смысле, что не зарабатываю этим на хлеб, как зарабатывают своим трудом слесарь или сапожник. Я – преподаватель латыни и французского языка, который предается размышлениям о привычных или загадочных вещах, и эти размышления не касаются никого, кроме меня. Я пишу, как молюсь, и мне кажется, что это долг каждого, кто трудится: сапожника, слесаря, писателя, – творить свой труд, как молитву».

«Тоже мне, молитвы!» – скажет кто-то из вас, но ведь именно этими молитвами я сегодня здесь. И если полную безвестность, в которой пребывает тот, кто вовсе ее не заслуживает, кто достоин предстать перед публикой, можно сравнить с тюрьмой, – то, положа руку на сердце, я могу подтвердить на своем примере, что широкая известность – тюрьма едва ли не худшая. Надзор за вами в ней будет куда строже: вам никуда не скрыться от чужих глаз, которые следят за каждым вашим

шагом, от постоянных инспекций и проверок, цель которых – поймать вас на каком-нибудь нарушении правил. Бесцеремонность, возведенная в принцип! Ушел один любопытный – явилось двое новых! Мечтаешь спрятаться в тень – но ее для тебя нигде больше нет. Ты пишешь на глазах у публики – как раньше рожала в присутствии всего двора французская

королева. Я пытаюсь найти хоть одно отличие между такого рода славой и публичным унижением – и не нахожу!

В 1929 году я женился, и это дало мне возможность сделать свою жизнь еще более неправдоподобной, создать новую парадоксальную ситуацию: ученый сухарь женится на танцовщице – где это видано?! Впрочем, это событие не имело ничего общего с сюжетом пьесы «Месье Труадек, предавшийся распутству». Скорее уж наоборот! Об этом я написал в «Супружеских хрониках». Если учесть, какое важное место занимало в моей жизни писательство, можно лучше понять, что произошло. У меня не было намерения воспевать в эпиталамах или романах свой медовый месяц и последующую супружескую жизнь – я просто изо дня в день записывал всё то, что случилось со мной хорошего или досадного. Как Ренуар написал сотню портретов одной-единственной женщины (которая всегда была рядом), я словно делал наброски портрета Элизы, один за другим, с разных ракурсов. Ее забавные реплики, ее резкие жесты и взбалмошные поступ-

ки каждый день давали мне материал для записей. Со временем их накопилось столько, что мне оставалось лишь объединить эти разрозненные заметки со множеством ярких деталей, взятых прямо из жизни, в книгу. Если бы моя жена была скромной овечкой, я бы, пожалуй, не стал это публиковать, но она много лет провела на сцене и была хорошо известна в театральных кругах, особенно после выхода посвященного ей романа Эрика Сати «Сума-сбродная красотка». И потом, должен признаться, я предпочитаю цинизм лицемерию и всегда находил удовольствие в том, чтобы скандализировать ханжей. Самое злостное мошенничество, на мой взгляд, – притворяться добрым, будучи злым; мне гораздо больше по душе, когда человек лучше, чем его репутация.

Месье Франсуа Мориак, к которому я питаю самое глубокое уважение, однажды сказал мне (кажется, в 1936 году): «Ах, какие книги я бы написал, если бы стеснялся не больше, чем вы!..» – «Да, конечно, – ответил я, – но вы предпочли Академию».

Сейчас я позволю себе прочитать отрывок из моего «Опыта о самом себе», где пытаюсь объяснить, насколько это возможно, секрет литературной деятельности, тайные механизмы которой представляют собой загадку даже для того, кто ей предается:

«Мой персональный литературный прием состоит в том, чтобы пробудить к жизни и окру-

жить заботой воображаемого персонажа, который мало-помалу освобождает меня от меня самого, – или, чтобы избавить себя от чужих историй, от той части чужой реальности, которая является для меня обузой, создать тем персонажам, с которыми я встречаюсь в реальной жизни, их собственные легенды. Это дает возможность сначала отрешиться от них, а потом – больше с ними не расставаться, назначая им свидания на той грани, где их натуры проявляют себя в полной мере, – и там я сближаюсь, а затем всё теснее сливаюсь с ними. О, этот миг, когда они возвращаются обновленными!.. Персонаж, которого я создал в них, очень скоро становится мне ближе, чем они сами. Нужно только, чтобы свет, в котором предстают мне Аньес, Вероника, Герцогиня или Элиза, был не чужд и им самим, чтобы к нему не примешивалось ничто из того, что не свойственно ни им, ни мне, чтобы он стал местом нашей встречи и отразил в себе некий отблеск их тайны, позволяющий мне ее разгадать. Нужно, чтобы не осталось ни малейшего зазора между подлинной историей и легендой, чтобы одна вытекала из другой, как ее естественное продолжение; чтобы они развивались по одним и тем же законам, в одном и том же ритме; чтобы история и легенда дополняли друг друга, перекликались между собой изо дня в день; чтобы они были как лицо и изнанка одной и той же сущности; чтобы тайная сторона понемногу проявлялась, а видимая – за-

туманивалась, чтобы они постепенно, но неуклонно сближались, вначале обретая сходство, а затем становясь неотличимыми – и, наконец, образуя полное, совершенное единство».

Именно таким образом я сумел воплотиться в трех разных персонажей: Теофиля, месье Годо и Жюста Бенша, каждый из которых являл собой один из моих образов, отличный от двух других. Каждый из трех имеет свое лицо, повадки, род занятий, не имеющих ничего общего. Каждый обладает индивидуальностью: достоинства и недостатки у всех разные; но, тем не менее, каждый из этих троих – я. Создать эти три типажа (без предварительно обдуманного намерения) меня, без сомнения, побудило открытие в своей натуре несочетаемых черт, которые я и распределил между ними. Теофиль, явившись на свет, отвергал все мои попытки приписать ему действия и поступки, которые были не в его характере, но лишь в моем. Тогда я приписывал их месье Годо. Первый получил от меня чистоту и непосредственность детства и отрочества, второй – величественность и степенность зрелости (которыми сам я в свои зрелые годы обладал далеко не в такой степени). Жюсту, герою книг «Мнимый отцеубийца» и «Байки Бенша», я доверил роль, которую сам исполнял при моих родителях.

Точно так же я поступил с Геретом, сделав из него Шаминадур. Мало-помалу Шаминадур

превратился в отдельный мир, целую химерическую вселенную, однако он никогда не переставал быть Геретом – и в своих масштабах, и в моих замыслах.

Не стоит также забывать, что я являюсь автором двух трактатов – «О величии» и «О моем падении».

Возможно, моя самая характерная черта – восприимчивость к тому, что есть в человеке карикатурного и возвышенного одновременно: даже если он проявляет упорство, а порой закоснелость в первом из этих состояний, это не отнимает у него почти божественного величия, которого он достигает во втором. Трудно доказать это самому себе на собственном примере, тем более убедить в этом других, и если порой мне это удавалось – что ж, тем лучше для меня. По поводу моей книги «Последние дни и смерть Вероники», которая вышла недавно, мне написал один священник-иезуит: «С какой любовью, с каким пристальным вниманием вы изучаете в каждом существе те черты, в которых более всего проявляется его индивидуальность. Вы видите нас, как, должно быть, видит нас Бог. Возможно, так должен поступать любой священник, даже рискуя быть обвиненным в излишней суровости».

В самом деле, больше всего занимает исследователя душ поиск того, что является главным, сущностным в каждой из них, – но это

требует времени. Лишь долгие неустанные наблюдения и близкое общение приносят плоды.

Когда я сделал это открытие, самым страстным моим увлечением стало собирание «баек». В этом я находил истинное удовольствие. Когда записываешь «байки», очень важно не упустить ни одной особенности речи, которая является как бы личной печатью персонажа, из чьих уст она исходит. Слова Вероники, например, всегда были звучными и размеренными, тембр ее голоса нельзя было спутать ни с чьим другим – и поэтому даже то, что она говорила на общие для всех темы, казалось чем-то особенным, что нельзя услышать больше ни от кого. Мне повезло – у многих людей, ставших частью моей жизни, была достаточно оригинальная манера говорить, и, знакомясь с ними, я словно входил в разные миры, которые затем последовательно соединялись друг с другом: моя мать, Вероника, Герцогиня, Элиза принадлежали к этой разновидности высшей аристократии душ. В те моменты, когда они начинают говорить во мне, каждая сохраняет свой тон, свою манеру, отличную от других, и ведет свою партию своим особым образом, в своем ритме.

Кроме моих близких, моей добычей – я хочу сказать, предметом наблюдений – становился любой, кого мне удавалось застичь в момент проявления своих лучших или самых низменных чувств.

Характер моих произведений, как и мой собственный, вызывали у многих жесточайшую антипатию. Я не хочу сейчас упоминать официальную критику, всегда относившуюся ко мне либо равнодушно, либо откровенно враждебно, поскольку она не имеет никакого влияния в нынешнюю эпоху, когда образованная, утонченная элита вполне может позволить себе обойтись без советов Грибуйя[1]. Будучи независимым, я никогда не обхаживал этих господ, и даже не знаком лично ни с одним из них. Как-то раз, в самом начале моей карьеры, Жак Ривьер[2] предложил мне поговорить в *La Nouvelle Revue Française* о новых книгах. Вот прекрасный способ заставить себя бояться, приобрести друзей, снискать похвалы и сделаться неуязвимым для ядовитых клыков и когтей. Нет, ответил я, нельзя быть судьей там, где ты предвзят. Я хочу быть писателем, я уважаю свой труд и поэтому не могу позволить себе неуважительно отзываться о труде других.

Впрочем, чтобы получить наглядное представление о всемогуществе диктата, зародившегося в недрах *Figaro littéraire, Monde*

---

1 Намек на поговорку «Умный как Грибуй: прыгает в воду, чтоб под дождь не попасть». Французское слово gribouille (простофиля) в данном случае – имя нарицательное. «Советы Грибуйя» – глупые, бесполезные советы.

2 Жак Ривьер (1886–1925) – писатель и критик, редактор журнала *La Nouvelle Revue Française*.

или *Aurore,* достаточно прочитать, что писал *Mercure* в 1693 году о только что вышедших в свет «Характерах» Лабрюйера: «Творение месье Лабрюйера может быть названо книгой только потому, что у нее есть обложка и переплет, как и у всех прочих книг. Само по себе это всего лишь нагромождение разрозненных обрывков. Нет ничего проще, чем набросать три-четыре страницы чьего-то словесного портрета, а потом добавить его к галерее других, развешанных как попало…» – ну и так далее[1].

Мне не страшны оскорбления, которые меня не задевают, будь то нападки моих соотечественников или же громы и молнии, которые обрушил на меня недавно *l'Osservatore Romano*. Стать чуждым своей духовной родине и своей религии – вот что было бы по-настоящему страшно.

Достаточно вспомнить, как уже помянутая мною *Figaro littéraire* в прошлом году от-

1 Чтобы показать, как пишут те, кого самые известные нынешние газеты уполномочили судить о достоинствах и недостатках литературного стиля других, я довольствуюсь всего одним образчиком галиматьи, опубликованной в *Monde* 17 октября 1953 года и вышедшей из-под пера Робера Куапле: «…отвратительное копошение… Я отдаю должное Месье (брату Людовика XIV), поскольку этого требует месье Эрланже, – но, открывая его книгу, вижу лишь чудовищный механизм интриг, тайных преступлений, ненависти под маской обходительности, – всё то, что демонстрируют животные или дикари, объединившиеся в стаю…»

вела целую полосу под собрание интервью, проведенных месье Шапеланом в Герете. Все несправедливые и больно ранящие отзывы, какие только ненависть, недоброжелательность, зависть, низость могли вложить в человеческие уста, – обрушились на меня; хуже того, возглавил эту беснующуюся свору один из моих старых знакомцев, которого я всегда считал

другом, кому никогда не отказывал в помощи и чья семья на протяжении четырех поколений была в наилучших отношениях с моей. Его мать тесно дружила с моей матерью, мой отец был так сильно привязан к его отцу, что у его смертного ложа потерял сознание (мать писала мне об этом в одном из писем, которое тоже со временем будет опубликовано, – это событие ее потрясло). Возможен ли был с его стороны поступок более жестокий, чем это отречение, это поношение? Нужно быть особо выдающимся преступником, чтобы такое заслужить. Но в чем состояло мое преступление? Я смотрел, как живут вокруг меня разные люди, мне было интересно узнать их, разгадать тайну каждого, и я поселил их в своих книгах. Я придал им те или иные черты, чтобы создать литературных персонажей, – разумеется, во многом отличных от своих реальных прототипов. Но разве я этим кому-нибудь навредил? В большинстве случаев я прославлял, а отнюдь не умалял тех, кто в добрый или недобрый час привлек к себе мое внимание своей необычностью или живописностью.

Но, по их мнению, мне надлежало молчать. Noli me tangere[1].

Хотя после этого скандала Поль Леото написал мне хвалебное письмо, где прославлял меня как, возможно, единственного писателя, который еще при жизни получил от целого города настолько яркое свидетельство подлинности своего таланта, – я всё равно чувствовал себя изгнанным из моего города, из моего Герета, который я так любил.

Поэтому я решил больше туда не возвращаться – ни живым, ни мертвым, – и, чтобы утвердиться в своем решении и сделать его необратимым, тут же выставил на продажу то немногое имущество, которое у меня там еще оставалось.

Но теперь во мне не осталось и следа былой горечи. Раньше ни дня не проходило, чтобы я не сказал себе: я поеду в Герет, прямо завтра! Теперь мне больше не нужно будет изводить себя подобным образом, и я заранее этому радуюсь.

Может быть, именно умением выносить постоянные удары судьбы я смогу снискать к себе некоторое уважение. Кто-то однажды мне сказал: «Слава вас не любит». Но ведь и я плачу ей тем же. Ту славу, к которой я действительно стремлюсь, никто не в силах мне дать или у меня отнять. Но о ней никто не должен знать, кроме меня и Бога. Я всегда хотел, чтобы она была тайной, внутренней, неуязвимой.

---

1 «Не тронь меня» (*лат.*).

Осталось сказать несколько слов о статье, вышедшей в Риме, на первой полосе газеты, которую читают повсеместно. Анонимный автор упрекает меня в том, что я мог бы стать Паскалем своего времени, но предпочел сделаться «алхимиком зла». Извращенность моих книг, по его словам, такова, что на их фоне бледнеют даже творения «презренного» Жида (это авторский эпитет). Ну что ж, после такого вступления у меня вроде бы нет причин быть недовольным: меня сравнили с Паскалем, меня признали фигурой, затмевающей Жида, – и это прочли читатели со всего мира. Есть чем гордиться! Но подождите, это еще не всё. Дальше упоминается Джон Кристи[1]. Согласно мнению автора, Джон Кристи, даром что убил множество женщин, менее отвратителен, чем я, «убийца душ». Здесь уже начинается обвинительная речь, которая завершается следующими словами: «Месье Жуандо заказал себе ад – с той же небрежностью, с какой мы заказываем напитки в баре, – и вот ад для него готов!»

Я уже ответил на это в *Figaro littéraire* цитатой Талейрана: «Всё, что преувеличено, само по себе незначительно».

Однако в завершение нашей встречи мне кажется небесполезным прочитать несколько страниц, написанных мною в 1945 году, которые ясно показывают мое отношение

1 Джон Кристи (1899–1953) – британский серийный убийца женщин.

к аду. Также по ним вы сможете судить о том, оскорбляет ли оно человеческое достоинство или веру.

Лет десять назад я решил написать диалог в стиле Платона, предварив его цитатой из Декарта: «Подобно тому, как актеры на сцене носят маски, чтобы зрители не видели их раскрасневшихся лиц, так поступаю и я, выходя на сцену этого мира, в котором до сих пор был всего лишь зрителем».

Диалог ведется между месье Годо и архипресвитером Герета (его прототип – реальный человек, каноник месье Сиалис). Если бы я захотел напрямую ответить *l'Osservatore Romano,* этот отрывок был бы лучшим ответом. Правду говорят, что во время судебных заседаний приговор как бы сгущается в воздухе, прежде чем облечься в письменную форму, и адвокат, если он инстинктивно чувствует, куда клонится чаша весов, заранее выстраивает линию защиты.

Месье Годо: Здравствуйте, господин архипресвитер! Каким добрым ветром вас сюда принесло?

Архипресвитер: Добрым ветром? Добрым ветром?! Все только и говорят о *вашей* преисподней – и вот я зашел взглянуть, на что это похоже, или, по крайней мере, расспросить вас о ней.

Месье Годо: Поскольку вы говорите о *моей* преисподней, господин архипресвитер, она,

стало быть, окружает только меня. Тогда о чем беспокоиться?

Архипресвитер: Вы сделали ее общедоступной. Теперь она появилась на карте – карте душ. Поэты отметили на ней места, где пребывают Сизиф и Тантал. Сдается мне, ваше где-то рядом.

Месье Годо: Господин архипресвитер, вы

оказываете мне слишком много чести!

Архипресвитер: Если вы поместили туда свою честь, мне вас жаль. Вот к чему приводит самолюбие! Итак, исключительно по легкомыслию вы решили обосноваться за пределами христианства. Вы сами отсекли свою ветвь от древа католицизма!

Месье Годо: За пределами христианства? Но вы не найдете лучшего христианина, чем я! Разве у меня нет веры? Разве я не сохраняю веру даже здесь, в преисподней? Ведь для того, у кого нет веры, ада тоже нет!

Именно на моей вере и зиждется мой ад! И с каких это пор, господин архипресвитер, ад перестал быть институцией чисто христианской, абсолютно католической? И почему вы изгоняете меня из церкви, если ад существует только в ней и только благодаря ей? Его нет нигде за ее пределами, и мой личный ад, больше, чем любой другой, несет на себе ее отпечаток. «И первою любовью сотворен»[1]. Но, если вы так хотите, допустим, что грешник,

1 Цитата из «Божественной комедии» (Песнь третья, строка 6) – часть надписи на вратах ада.

каким я являюсь, исторгнут из сонма праведных.

Архипресвитер: Это будет большим ударом для мадам Реми, которая знала вас еще ребенком, и называла «дитя молитв».

Месье Годо: Я понимаю, к чему вы клоните, но, господин архипресвитер, даже если ад Гомера – это не ад Вергилия, и ад Вергилия – не ад Данте, всё же, согласитесь, они ни в коей мере друг другу не чужды, более того – произрастают один из другого. Так может быть, все они, что бы там ни говорили, не чужды и христианскому аду? Иисус ведь сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Почему бы не предположить, что обителей много и помимо райских?

Архипресвитер: Но разве не претендуете вы на то, чтобы создать свою персональную обитель, только вашу и больше ничью – за пределами обителей Бога, в каком-то месте, Ему пока не известном?

Месье Годо: Кто вам сказал, что у меня такая цель? Вы хотите получить объяснение, я пытаюсь вам его дать. Представьте, что вы пришли к человеку, который только что открыл новую планету – он указывает вам на пересечение воображаемых линий, в котором и находится его химера. Или возьмем более скромные масштабы: пусть это будет остров. Точно так же, как я указал бы его на карте, я указываю вам, на пересечении какой параллели и меридиана находится моя душа. Но, разумеется, речь не идет о том месте, которое назна-

чит мне Бог после Страшного Суда. Как я могу предвидеть, какой будет моя вечность – даже если это отчасти зависит от меня? Откуда мне знать заранее, какой будет моя награда или кара? Пусть даже они вырастают из моих поступков, но ведь, в сущности, это всё имеет мало отношения ко мне. Я знаю одно: то, чем я ныне обладаю всецело и что Бог не может у меня отнять или сделать для меня недоступным, чего бы я ни совершил, имеет отношение к самым основам веры – ведь если бы Бог захотел забрать обратно свои дары, это противоречило бы самой Его природе. Я знаю одно: на то, чем я являюсь по своей природе, на то, что, собственно, и есть я, Бог не может посягнуть – как не может Он посягнуть на самого себя без того, чтобы отменить свой собственный замысел, отменить Неизбежность, пересмотреть законы Творения, столь же неколебимые, неизменные, необратимые, как и Он сам. В своих стремлениях я хочу основываться лишь на том, что есть Бог и что есть я – независимо от моих поступков или образа жизни, моральности или аморальности, загробных мук или спасения.

Для меня важно дать точное и изящное определение состояния души, неправдоподобного и в то же время подлинного, – того невероятного состояния настоящей, чистой души, которая, полностью раскрывшись, обновляет человека, давая ему второе рождение, – и хотя в этом состоянии нет ничего странного, оно

делает его чуждым всем остальным его собратьям, ибо его убежденность в своем предназначении и его отвага далеко превосходят человеческие. Мне хотелось бы, чтобы такое состояние души однажды проявилось в каждом человеке – чтобы оно стало присущим Человеку. Душа обретет его с того момента, как один-единственный человек его достигнет, не отделяясь при этом от остального рода человеческого, не уклоняясь от того, что предназначено и определено ему источником блага для каждой души, в каком бы виде это благо не было ниспослано и какими бы ни были эта душа и ее собственное, незыблемое место в мироздании от сотворения до конца мира, какой бы ни была ее роль во вселенской драме, какой бы выбор она ни сделала, оказавшись между Добром и Злом.

Если человек получает свои добрые или дурные свойства изначально, какова в своей основе «Хартия Человека», каковы те законы, которые утверждают ее в его натуре и определяют границы ее действия? Два основных закона, а именно: во-первых, он сотворен *бессмертным,* а во-вторых, *свободным* – абсолютно свободным любить или ненавидеть свою первопричину, самого Бога и свою свободу, независимо от того, осуществляется она через повиновение или через бунт, – это никак не влияет на его бессмертие, которое остается незыблемым, нерушимым. Господин архипресвитер, ведь ничто из того, о чем я говорю,

не нарушает канонов веры? Разве мои заключения, мои утверждения не утратили бы свою действенность, если бы я отверг Церковь и ее догматы? Всё это имеет смысл только для верующих. Ведь я не преступаю границ христианства, границ католицизма?

Архипресвитер: Да, но вы подошли вплотную к ним.

60 *Месье Годо:* Хорошо! Дело вот в чем: я представил себе ситуацию, когда душа, получив эти царские дары, которые никто не может у нее отнять, – бессмертие без увядания, абсолютную свободу, – хотя и без серьезного ущерба для себя, всё же ослабляется, истощается именно своей поистине волшебной участью, которую определил ей Бог; и вот, сделавшись неблагодарной, иными словами, дважды свободной, она горделиво драпируется в свои привилегии перед лицом своего создателя. Я предположил, что где-то существует другой месье Годо, который возле Престола Божьего усаживается на свой собственный престол – который именно Бог даровал ему; месье Годо, который запирается в границах своих владений – которые Бог пожаловал ему навечно в Своем царстве; но, повторяю, не я пересек границу этого сверхприродного царства – это Бог открыл ее для меня своими всемогущими и оттого беспечными руками».

О, я прекрасно понимаю, что многие (тот же автор статьи в *l'Osservatore Romano*) стали бы

утверждать, что этот «выдуманный месье Годо» – на самом деле я, что только из робости я вложил свои слова в уста вымышленного персонажа, которого поставил на свое место и которому придал сходство с собой, но в то же время и более грандиозный масштаб. Он сознает всю полноту власти, которой я его наделил, он достаточно отважен не только для того, чтобы осуществить титанический замысел – бросить вызов Природе, человеческой и божественной, – но и, как некий новый Прометей, более опасный, чем его предшественник, способен пойти дальше и достичь полной, наивысшей отчужденности от всего и вся – дьявольской, вселенской, окончательной. Образцовый, непревзойденный азартный игрок, он вступает в вечное противостояние с Богом – такова его личная преисподняя. Но разве, описав ее, признав ее существование, я тем самым сделал ее своей? Разве я согласился бы в ней обитать?

В такой гипотезе есть даже особого рода величие – она заставляет поверить в то, что я сам дьявол.

Но почему бы не предположить, что, создавая месье Годо, этого вымышленного, сказочного персонажа, этот эфемерный и бесхитростный образ моего клеврета, моего двойника, – я хотел зайти так далеко в своем бунтарстве для того, чтобы смириться, испытать высшую степень отторжения и отвращения, чтобы сблизиться и полюбить, подняться на вершину гордыни, чтобы самоумалиться,

и, более того, показать глубокий смысл, значение, цену и тяжесть своего самоотречения, своего добровольного низвержения, и, конечно же, – финальной победы, торжества Бога надо мной? Кто знает, не стала ли эта вымышленная история для меня наилучшим способом познать высоты и глубины собственной души, масштаб собственного достоинства, величественный архангельский размах своих крыльев, свою соразмерность Богу, позволяющую предстать пред Ним на равных? И кто знает – представив себе такое поведение человека и перспективы, которые оно открывает, не узнал ли я истинный масштаб человека и не поведал ли ему об этом?

Сегодня вечером я готов сделать вам еще одно признание: только дожив до шестидесяти шести лет, я смог наконец усмирить все свои тревоги и окончательно отрешиться от трагедий подросткового и зрелого возраста, на которые я смотрю теперь почти безмятежно. Это самое высокое достижение из всех, что может предоставить нам жизнь.

Ну что ж, мое выступление окончено. Я не слишком злоупотребил вашим терпением?

Надеюсь, мадемуазель Пейра хорошенько отчитает меня, если я оказался недостойным вас, ее или самого себя.

Марсель Жуандо. Сокровенное. Прага: Митин журнал; Краснодар: Асебия, 2023.

Книги издательств доступны для скачивания на сайтах http://kolonna.mitin.com и https://asebeia.su.

Отпечатано в типографии
«Sic semper tyrannis».

352800, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, 18.